

*u*

# Весь Салтыков-Щедрин

## Добрая душа

Часто я думаю: что на свете всего милее? и как ни гадаю, всегда выходит один ответ: нет на свете милее доброй души человеческой. Конечно, не всегда хорошо живется доброму человеку; конечно, он даже чаще страдает, нежели другой, который смотрит, выпучив глаза, на мир божий, и нет ему дела ни до чьих великих горестей, но и страдает-то он как-то тихо, сладко, любяще...

Хорошо встретиться в жизни с добрым человеком: во-первых, он всегда много видел, мыслил и испытал, а следовательно, и рассказать и объяснить многое может; во-вторых, самая близость доброй души человеческой просветляет и успокаивает все, что бы ни прикоснулось к ней. Как доходят люди до того, что делаются совсем-совсем добрыми, что не обвиняют, не негодуют, а только любят и жалеют — это объяснить сразу довольно трудно. Однако можно почти без ошибки сказать, что достигнуть этого нельзя иначе, как путем постоянной работы мысли. Когда человек много мыслит, когда он рассматривает не только внешние признаки поступков и действий своих ближних, но и ту внутреннюю историю, которая послужила

подготовкой для них, то очень трудно бывает оставаться в роли обвинителя, хотя бы внешние признаки известного действия и возбуждали негодование. Коль скоро мысль объясняет и очищает действие от запутывающих его примесей, сердце не может не растворяться и не оправдывать. Преступники исчезают; их место занимают «несчастные», и по поводу этих «несчастных» горит, томится и изнывает добрая человеческая душа...

Много встречаем мы на свете людей, но, к сожалению, большая часть их принадлежит именно к числу таких, которые ходят с выпученными глазами и ни о чем слышать не хотят, кроме своих маленьких личных интересов. Эти люди самые несчастные, несчастнее даже тех, кого мы называем собственно преступниками. У настоящего «преступника», может быть, вся душа переболит прежде, нежели он решится на преступление, а этот, что ходит с выпученными глазами по улице, на каждом шагу делает свои маленькие гадости и даже не чувствует, что эти гадости — те же преступления и что из их темной массы исходят все мирские несчастья.

Но встречается немало и добрых людей, и вы, милые дети, всегда скорее всех успеваете отличить их. Когда вы чувствуете, что вам легко и приятно около какого-нибудь человека; когда ваши лица

расцветают улыбкою при виде его, когда вас инстинктивно манит приласкаться к нему... знайте, что это такой же чистый и милый человек, как и вы сами; знайте, что около вас бьется именно то самое доброе человеческое сердце, о котором я хочу повести здесь речь.

Нигде так много не встречается добрых душ, как между женщинами. Мужчина почти всегда по горло занят мелкими своими житейскими делами; он больше на народе, он чаще вынуждается вести борьбу, видеть и терпеть несправедливости. Поэтому у него более поводов воспитывать в себе чувство досады и нет времени соображать свои выводы с выгодами других, нет времени и прощать. Сверх того, известная доля самостоятельности сообщила его действиям несколько хищнический характер, вследствие чего любимыми его пословицами стали: «На то война!» да «Затем в море щука, чтоб карась не дремал!» Напротив того, женщина с самых малых лет почти всегда одна и всегда в загоне; действительная роль, на которую — по крайней мере, в настоящее время — осуждена женщина, — это роль безмолвия и исполнения чужих желаний и прихотей. Вот она и молчит, но в то же время думает, много думает. И чем больше она думает, чем томительнее тянется ее собственная одинокая жизнь, тем более растворяется любящее, доброе сердце. Она видит,

как суетится и колотится весь свой век мужчина, как он лукавит и изворачивается из-за куска насущного хлеба, и мысль о «несчастье», которое как бы сетью какою опутало весь людской род, сама собой возникает в ее голове. Муж ли вернется домой злой и хмельной, она думает: «Господи! какой он несчастный!» Сын ли окажется уличенным в незаконных делах, она думает: «Господи! как он должен страдать и как нужно, как нужно ему любящее сердце, которое могло бы вселить мир в его тоскующую душу!»

И когда женщина захочет утешить скорбящего человека, то можно сказать наверное, что в целом мире не найдется слаще и лучше того утешения. Нет татя, у которого не открылся бы источник слез при виде умиротворяющей женской ласки; нет душегуба, которого сердце не дрогнуло бы перед любящим женским словом. И не потому только, чтобы эта ласка или слово усыпляли человека или заставляли его забыть что-нибудь, а потому, что эта ласка, это слово восстанавливают искаженный человеческий образ, что они вдруг очищают его душу от наносной житейской грязи, что они хотя и не уничтожают прошлого, но делают невозможным возврат к нему...

Когда я был в той труппе, о которой вам недавно рассказывал, то случай свел меня именно с одною беспредельно доброю женщиной,

воспоминание о которой будет благословенно для меня до конца моей жизни. Об ней-то я и поведу с вами речь.

Это была вдова мещанина, Анна Марковна Главщикова. Муж ее когда-то был достаточным купцом, но потом прожился, разорился и умер в мещанах, оставивши Анне Марковне самое ограниченное состояние. Как теперь помню, жила она в своем маленьком одноэтажном, об трех окнах на улицу, домике, около которого стоял довольно поместительный анбар с большими створчатыми дверьми. В этом анбаре, наполненном всяким мелочным товаром, обыкновенно торговал Марк Гаврилыч, отец Анны Марковны, старичок древний, словно мохом покрытый, который уже почти ничего не слышал и не видел, но выпустить из рук бразды правления не соглашался. В помощь ему был определен Сережа, довольно бойкий мальчуган, приходившийся Анне Марковне чем-то вроде племянника, и совокупными усилиями они как-то успевали вести дела не в ущерб, хотя отец протопоп соседней церкви всякий раз, как проходил мимо лавки Главщиковых, никак не мог утерпеть, чтоб не сказать:

— Старость да младость в союз вступили; обе вопиют: «Помози!»

Когда я зазнал Анну Марковну, она была уже женщина лет за пятьдесят. Лицо у нее,

по-видимому, и в прежние, молодые годы нельзя было назвать красивым, но добродушие и какое-то счастливое спокойствие так и светились во всех его чертах. Часто чувствительность заставляла ее плакать, но она плакала без всяких усилий; брызнут сами собой слезы из глаз и потекут по старчески румяным щекам; и видно было, что ей легко плачется и сладко плачется. Часто она тоже вздыхала, но это были не настоящие вздохи, а какое-то тихое всхлипывание, совершенно подобное детскому. Вообще некрасивость ее была такого рода, что к ней очень скоро можно было привыкнуть, и чем больше с нею свыкаешься, тем лучше и свободнее при ней себя чувствуешь, так что под конец, пожалуй, это лишенное всякого изящества лицо покажется краше любой красы.

На дворе у ней всегда бегало великое множество детей. Тут были и дети бедных родственников Анны Марковны, и сироты бездомные, которых она как-то умела всюду отыскивать. Поэтому возня на дворе и у ворот, около лавки, была всегда страшная. Кто на доске скачет, кто в песке копается, кто пироги из глины месит, кто с индейским петухом разговаривает, кто, наконец, подкрадывается к дедушке Марку Гаврилычу и норовит снять у него с носа толстые серебряные очки.

— Кшш... пострелята! — крикнет на них

дедушка; но крикнет так незлобиво, что «пострелята» с звонким хохотом брызнут во все стороны и тут же начинают совещаться, какой бы сочинить новый поход против дедушки.

Эта любовь Анны Марковны к детям послужила соединительною связью между ею и мною. Я не могу пройти мимо маленького ребенка без того, чтоб не погладить его по головке или не дать ему пряничка. Анна Марковна сразу заприметила это мое свойство, и стал я ей люб. А еще любее я сделался ей, когда она узнала, что я принадлежу к числу «несчастненьких», что я тоже в своем роде «узник», хотя и хожу каждый день на службу в губернское правление, чтобы, как выражался Марк Гаврилыч, «всякую вреду строить». А в глазах Анны Марковны после младенца не было в свете краше человека, как «несчастненький» или «узник».

И вот однажды, когда я, настроив в течение утра посильное количество «вреды», возвращался из губернского правления домой и, остановившись около лавки, беседовал с обступившими меня «пострелятами», из калитки ворот вышла сама Анна Марковна.

— Да вы, барин миленький, хоть бы чайку чашечку выкушать зашли! — сказала она мне, — а то уж как-то и стыдно мне, старухе! Все-то вы эту вольницу-то мою ласкаете да дарите, а мне вас и



побаловать-то ничем еще не удалось! пожалуйста, миленький, познакомимтесь!

Я пошел за нею, и с той минуты, как переступил порог этого дома, на душе у меня как-то повеселело. Как будто кто-то издали улыбнулся мне и прилепел меня, как будто давно затерянный и вдруг снова обретенный друг крепко-крепко прижал меня к груди своей.

Часто, почти каждый день я беседовал с нею, и все, что я уже знал, о чем говорила мне книга, все это как будто бы я во второй раз понял, понял и сердцем, и мыслью, и всем существом. Книга жизни, в которой каждое слово как будто дышало и билось, раскрылась передо мной со всеми своими болями; со всей жаждой счастья, которое, словно мираж, манит и трепещет на горизонте, понапрасну только изнуряя и иссушая грудь бедного странника моря житейского. Эта простая, но беспредельно добрая женщина много потрудилась на своем веку и много думала, но додумалась только до любви и прощения. Она не получила никакого образования и потому не всегда умела уяснить себе причины того или другого явления; но так как, в ее лета и при ее обстановке, помочь этому недостатку было уже невозможно, то она совершенно естественно возмещала его тем усиленным горением сердца, которое доступно даже наиболее простому человеку и которое в то же время так много

способствует увеличению в мире суммы добра.

Особенными фаворитами ее были: во-первых, дети, во-вторых, мужики, и в-третьих, преступники, или, как она всегда выражалась, узники.

— Не знаю, как ты, дружок, — говаривала она мне (она очень скоро подружилась со мной и начала говорить мне «ты»), — а я так до страсти этих ребятишек люблю! Первое, умны и заняты они очень, второе — зла в них вот ни на эстолько нет! И не думай ты, друг мой, чтобы этакой малец чего бы нибудь не понял! Нет, он, плутяга, от земли на аршин вырос, а уж все смекнул! Ведь он тот же большой человек, только в малую формочку вылит; все равно как вот солнышко в капельке играет, так и в него настоящий-то человек смотрится!

Говоря это, она гладила маленького внука Сережу, который фыркал от удовольствия, слушая бабушкины речи, и тем несомненно подтверждал справедливость их.

— А расскажите-ка, Анна Марковна, что-нибудь про крестьянскую нужду? — спрашивал я ее иногда, зная, что это один из любимых ее предметов и что ничем нельзя сделать ей большего удовольствия, как доставив случай побеседовать об нем.

— Ах, какая это нужда, мой друг! какая это тяжкая нужда! Кажется, и сердце-то все сгореть должно, как бы настоящим манером подумать об

этой нужде!

— И полноте, Анна Марковна! живут они себе припеваючи, только тесненько немножко! — скажешь ей на это, чтоб подстрекнуть и пошутить над ее горячностью.

— Нет, не говори, даже не шути ты этим! Ты взойди только в избу-то крестьянскую, ты попробуй хлеба-то, который они едят, так она, нужда-то ихняя, сама так в глаза тебе и кинется. И опять подумай ты, что для этого ихнего хлеба мякинного да для пустых щей должен он целый век, до самой смерти своей, все работать, все работать! Как только бог души их держит, как только сила-то в них еще остается! Ведь по-настоящему-то, от этих пустых щей бока у человека промыть должно, а он все-то скрипит, все-то работает! И не для себя все работает... да, не для себя!

— А вот в газетах, Анна Марковна, пишут, что мужик оттого беден, что пьет не в меру! — опять пошутишь над нею.

— Врут все они, врут твои газеты! — вскинется она на меня, — вот кабы и ты поменьше этих враньев-то писал, и ты бы в этой трущобе-то не жил, а, пожалуй бы, в звездах да в лентах мостовые гранил! Ты подумай, какое они слово, эти газетчики-то твои, говорят! Пьет мужик! А сколь часто он пьет, спросила бы я тебя? В неделю, а не то и в месяц раз, на базаре бывши! А слышал ли ты,

как мужик на базар-то едет, с чем едет и что он там делает?

— Нет, Анна Марковна, признаться, мало я эти дела знаю.

— Так вот я тебе расскажу. Едет мужик на базар ночью, чтобы поспеть ему в город раным-рано, чуть брезжить начнет. Не спит он, все около воза идет и так-то ноги свои отколотит, что они у него словно из лаптей вырастать станут. И идет он таким манером верст десятки, и в мокреть, и в пыль, и в снег, и во вьюгу, и в дождик. И лицо-то у него от мороза белеет, и ноги мозжат, и сон-то его валит, а он все идет, все идет, словно у него и невесть впереди какая радость стоит. А везет он, мой друг, на возу-то на своем... знаешь ли, что он везет? Душу свою, друг мой, он везет! душу свою, которая цельную неделю день-деньской надрывалась, недопивала, недоедала, а все думала: «Господи! как бы мне на соль да на щи пустые осталось, чтобы мне христианскою смертью помереть, а не околеть с голоду, как собаке!» Ну, вот, приехал он, продал свою душу-то на базаре... как ты думаешь, куда он деньги-то свои наперед всего понес? В подати, мой друг, в подати!

— Однако, Анна Марковна, согласитесь, что ведь и казна должна же чем-нибудь жить!

— Знаю, дружок, знаю, что подати платить, — самое есть первое дело, да не про то я с тобой и

говорю! Я говорю, как мужику-то больно, как у него сердце-то его бедное щемит! И назябнется-то он, и недоспит-то, и обманут-то его, и оберут-то! Что делать-то ему! ты скажи, что ему делать-то?

— И все-таки не резон в кабак ходить!

— Ну, брат, я вижу, что ты меня только нарочно в сердце вводить хочешь! Ин, прощай лучше, бог с тобой!

— Ну, полноте, Анна Марковна! вы видите, что я шутки шучу. Не пошути я с вами, вы бы не расходились так, да и я бы не знал, как мужики на базар ездят.

— То-то, мой друг, надо эту жизнь знать, чтобы об ней говорить, а тем паче народ смущать своими речами! Я сама хоть и купчихой росла, а тоже недалеко от этого звания выросла. Вот и ты как станешь вникать, тоже будешь знать, благо наука эта не очень мудреная. И помяни ты мое слово, запомни ты эту приметку: как взглянешь ты на нашего мужика, да затоскует в тебе сердце твое, тогда говори смело: знаю, мол, я нашего русского мужика, потому что без жалости смотреть на него не могу! И будет он тебе так мил, так мил, что и пониток-то его рваный краше ризы нешвенной покажется!

Много рассказывала в этом роде Анна Марковна, и я никогда не уставал наслушаться рассказов ее. Говорила она, как родится русский

мужик, как он, словно крапива у забора, растет, покуда в меру разума войдет; говорила, как пашет, боронит, косит, молотит, веет русский мужик, и все куда-то везет, все везет! говорила, как умирает русский мужик кротко, покорно, истово... Рассказы эти не разжигали меня, не поднимали во мне горечи, но, напротив того, как будто смягчали мое сердце. И мне кажется, что действительно бывали в жизни моей такие моменты, когда при взгляде на мужика сердце мое начинало тосковать, и что этими моментами я обязан, никому иному, как именно милой моей Анне Марковне.

— Ну, а «несчастненьких»-то ваших за что вы любите? ведь не за добродетели же они, а за преступления свои узниками-то сделались!

— Да ты, дружок, подумай крошечку, так и увидишь, может быть, что настоящие-то преступники не в остроге сидят, а тут вот, промеж нас с тобой, в миру в вольном веселятся да благодушествуют!

Ответ этот несколько смутил меня. Конечно, думалось мне, есть такие ответы... есть! Но как могла дойти до них простодушная мещанка города Крутогорска? Какую такую свою собственную теорию неменяемости соорудила она в голове своей? Ведь при помощи одних внешних признаков, которые только и доступны той степени развития, на которой она находилась, нельзя же

прийти к таким нешуточным обобщениям!

На поверку, однако ж, оказалось, что вопросы жизненные, даже наиболее мудреные, суть именно такие вопросы, относительно которых процесс мысли самый простой и процесс самый сложный очень часто сходятся между собой и приводят к одинаковым результатам. Единственное при этом условие, которого нельзя обойти, заключается в том, чтобы мысль шла прямо, чтобы она не увлекалась изворотами и честно и посылно разрешала вопросы, которые представляются ее вниманию.

— Как ты думаешь, — продолжает между тем Анна Марковна, — от сытости, что ли, вор ворует, от хорошего житья грабитель на дорогу выходит? Или, по-твоему, человек так и рождается злодеем? Так вот они, — дети-то! гляди на них! Вот их тут охапка целая, как хочешь, так их и поверни!

Взгляну я на детей, и в самом деле убеждаюсь, что все они такие бравые, добрые и умные, что никак даже вообразить себе нельзя, чтоб из них вышли когда-нибудь злодеи и грабители. Правда, что маленький Петя постоянно ведет упорную борьбу с старым козлом, который греется у конюшни на солнце, и даже нередко обижает старика, но ведь у него на это свои резоны есть.

— Тетенька! Васька возить меня не хо-о-чит! — оправдывается он всякий раз, как Анна

Марковна принимает сторону разобиженного козла.

— Да ведь он, голубчик, старенькой! — увещевает его тетенька.

— Дедушка тоже старенькой, а вот возит!

Во всяком случае, этот признак вовсе не столь решительный, чтобы из него можно было выводить заключения. Да и житье Васьки-козла, в сущности, совсем не худое: сколько раз в сутки тот же самый забияка Петя, натешившись над ним, и хлебца ему даст, и молочка принесет...

— Узы, мой друг, везде есть, — продолжает свою речь Анна Марковна, — и как тяжелы... ах, как тяжелы эти узы! Только понять их нелегко, потому что ищем мы их не там, где искать следует, и на то только горе бежим, которое само нам в глаза тычется! Как думаешь ты, под забором-то расти — не узы это? большую-то дорогу своими ногами обколачивать — и это тоже не узы? А кабак-то! а воровства, да грабильства, да убийства — ведь это, коли хочешь, даже не просто узы, а из всех уз узы! Вот они где, наши мужицкие-то узы, зреют-назревают, а ты их в остроге да между заключенными ищешь! Там ведь, дружок, уж развязка одна, а ты подумай только, какими путями-дорогами до этой развязки-то дойдено!

И от слова Анна Марковна немедленно переходила к примерам, которых знала немало.

— А ты вот попробуй-ко с лаской к нему



подойти, к тому, которого ты душегубом-то называешь, так и увидишь, как его, сердечного, от душевной-то муки перевертывать начнет!

— А вы, верно, пробовали, Анна Марковна?

— Пробовала, сударь, не хвастаясь скажу: не однажды пробовала. Был, я тебе расскажу, у нас в здешнем остроге большой грешник перед богом, Василий Топор назывался. Сколько этот Васютка душ христианских безвременно сгубил — так это и сказать невозможно. Читали это, читали, как на эшафот-то его вывели — даже и на народ-то словно бы страх напал! А он стоит этак, руки назад к столбу связавши, и даже в лице нисколько не изменился! И начали его полысать... Я сама тут, мой друг, была, и хоть мне не впервой эти страсти человеческие видеть, однако и я удивилась, какую он в своем сердце, даже под плетью, отвагу сохранил! Только ворочаюсь я с торговой-то площади домой, словно пьяная, и думаю: «Господи! да неужто ж есть на свете такой человек, который не видел бы лица твоего!» И решила я тогда же пойти к нему в больницу и утешить его...

Анна Марковна останавливалась и несколько мгновений не могла продолжать от волнения.

— Вот и пришла я к нему в больницу... Много ли, мало ли говорили мы между собой, — не мудреные, мой друг, наши речи! — только стал он понемногу смягчаться. «Васенька! — говорю я, —

сердце у тебя, друг мой, горячее, укроти ты его, утоли ты вредную строптивость свою!» Посмотрел он на меня, и словно как бы в первый раз ему в голову что пришло. «Не стерпел ты уз своих тесных, говорю, в лесах да по дорогам горе свое большое разнести захотел!» — «Не стерпел», — прошептал он. «А ты бы, говорю, подумал, какие узы другие-то христиане терпят; может, горше твоих!» — «Горше», — говорит. И вижу я, стал он напряживаться, и пот по нему проступать начал. И вдруг он хлынул. Только какая это горесть, друг мой, была, я даже выразить тебе это не могу! Уж не то что плачет или рыдает, а просто криком кричит!.. И мучится... и мучится... Так мне после этого пятна-то, которые у него на щеках да на лбу напятнаны были, краше честного девичьего румянца показались!

Признаюсь откровенно, когда я выслушал этот рассказ, из глаз моих полились невольные слезы. Мне почуялось, что я вдруг сделался чище и лучше, нежели был прежде, и что, за всем тем, я и пяди не стою этой простой и милой женщины, которой голос, точно горнило всеочищающее, умеет проникать в самые темные тайники души и примирять с совестью самые упорные и закаленные натуры.

— Так вот как насмотришься этаких примеров, — продолжала она, — так и

посовестишься сказать про человека: вот вор! а этот вот убийца! Ведь и убийце Христос сердце растворил, ведь и в ад он, батюшка, сходил... а мы!

Давно нет уж на свете Анны Марковны, но я до сих пор благословляю ее память. Я убежден, что ей я обязан большею частью тех добрых чувств, которые во мне есть. Я мог бы привести здесь много разговоров, которыми мы коротали с нею долгие зимние вечера; я мог бы рассказать, как она учила детей идти прямою и честною дорогой и даже под страхом смерти не сворачивать с нее, но предпочитаю возвратиться к этому предмету в особом рассказе.

Скончалась она тою самою «крестьянскою» смертью, о которой столько раз говорила и которой сильно желала. В один из теплых, весенних дней, возвращаясь из церкви, она промочила ноги и простудилась. Вечером я ее еще видел, и хотя тут был лекарь, который запрещал ей говорить, но такая уж она была словоохотливая старушка, что удержаться никак не могла. На другой день утром я узнал, что Анна Марковна уснула...

Марк Гаврилыч жив и до сих пор, но от старости уж ничего не говорит, а только все плачет. Сережа, старший внук, достиг двадцати лет и управляет дедушкиным капиталом, которого, за добродетель Анны Марковны, набралось очень

довольно. Часто проходя мимо знакомого дома об трех окошках, я видел, как в одном из них улыбалось личико хорошенькой мешаночки, добрым выражением своим напоминавшее лицо покойной тетеньки. Я знал, что это личико принадлежит жене Сережи и что в доме все счастливы, как будто живет еще в нем и приголубливает всех и каждого вечно любимая тень Анны Марковны.

# СнопЫ

*Стихи и проза Я. П. Полонского.*  
*СПб. 1871*

По поводу сочинений г. Полонского случилось небольшое недоразумение. В прошлом году, разбирая том вышедших в свет стихотворений этого автора, мы выразились, что в литературной деятельности г. Полонского не усматривается никакого определенного характера и что по некоторым из произведений его прихотливой музы трудно даже угадать, чего он хочет и что желает сказать. Отзыв этот вызвал протест со стороны г. Тургенева и, по-видимому, не остался без влияния и на самого г. Полонского. Первый объяснил наше отношение к г. Полонскому очень простою причиною: клиентизмом; второй, в предисловии к «Снопам», упоминает о «литературных и нелитературных врагах», которые топчут его жатву «ради барской или наезднической потехи». Очевидно, что и г. Тургенев, и г. Полонский видят в критике нечто вроде домашнего дела, в котором рецензент, рассматривающий произведения того или другого автора, обязывается руководствоваться не действительною их стоимостью, а какими-то иными соображениями, из которых некоторые могут быть даже совершенно ему неизвестны.

Обвинения в клиентизме и наездничестве огорчили нас; но огорчение все-таки было не настолько велико, чтобы заставить нас согласиться с мнением о правильности домашних отношений критики к литературным деятелям. Мы остались при прежнем убеждении, что мнение это совершенно негодно и что уже со времен Белинского его следует считать упраздненным.<sup>1</sup> Критика имеет дело не с личностью, а с произведениями автора, и все, что мог заставить нас сделать энергический протест г. Тургенева, — это еще раз проверить выраженное нами в прошлом году мнение о сочинениях г. Полонского, что нами и исполнено по поводу издания «Снопов».

К сожалению, мы и теперь не имеем ни малейшего основания отступить от высказанных прежде заключений, несмотря на то, что в «Снопах» помещены, между прочим, «Признания Сергея Чалыгина», которые г. Тургенев в особенности рекомендовал нашему вниманию.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> ...уже со времен Белинского его следует считать упраздненным. — В своем «протесте» Тургенев противопоставлял критику Белинского, которая всегда «шла по следу», критическим принципам «Отечественных записок».

<sup>2</sup> ...«Признания Сергея Чалыгина», которые г. Тургенев особенно рекомендовал нашему вниманию... — в указанном

Эти «Признания» нимало не объяснили для нас ни литературной физиономии г. Полонского, ни его мирозерцания, а ежели в «Снопах» можно найти какие-нибудь указания по этому предмету, то их следует искать не в «Признаниях», а в другом не менее капитальном произведении того же автора, носящем название «Ночь в Летнем саду». Но и здесь указания свидетельствуют лишь о недоразумениях, и притом о таких недоразумениях, которые положительно говорят не в пользу автора.

Мы не принадлежим к числу критиков, которые, по мнению г. Полонского, утверждают:

Что вовсе не цветы прекрасны, а  
картофель... —

и даже, признаемся откровенно, совсем не знаем критиков, которые проповедовали бы подобную галиматью; но мы утверждаем, что неясность мирозерцания есть недостаток настолько важный, что всю творческую деятельность художника сводит к нулю. В этом нас убеждают примеры таких великих и общепризнанных художников, как Сервантес, Гете, Шиллер, Байрон и друг., которые всегда полагали в

---

письме-протесте в редакцию «С.-Петербургских ведомостей» (см. И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем, т. XV, стр. 155).

основу своих произведений действительные стремления и нужды человечества и, сверх того, умели с полной ясностью определить свои отношения к этим стремлениям и нуждам. Если произведения этих писателей имели в свое время громадное воспитательное значение, если это значение и поныне не утратило своей силы, то объяснения этого факта следует искать именно в их тенденциозности, в том, что они беседовали с читателями не о сновидениях, а раскрывали перед ними ту жизненную разрозненность и смуту, под гнетом которых страдало и страдает человечество. «Дон-Кихот», «Чайльд Гарольд», «Фауст», «Разбойники» — все это произведения в высшей степени тенденциозные, и, стало быть, требуя от литературного деятеля, чтобы он избегал оговорок и с полной ясностью определял свои отношения к вещам мира сего, мы не только не являемся отрицателями здоровых преданий искусства, но, напротив того, не отступаем от них ни на шаг.

С другой стороны, мы не принадлежим и к числу тех придирчивых критиков, которые к второстепенным литературным деятелям относятся с теми же требованиями, как и к деятелям, намечающим эпохи в истории искусства. Мы очень хорошо понимаем, что нельзя винить человека в том, что он не совместил в своей груди всех скорбей человечества; мы знаем, что полет воробья



не может быть сравниваем с полетом орла; но сокращение наших требований в этом случае все-таки касается не основ мирозерцания, а только объема и глубины его. Когда писатель, имея перед собой образцы, указывающие ему истинный путь, все-таки отворачивается от вопросов жизни и предпочитает им любовные интриги синиц, мы имеем полное право и основание негодовать на него. Это доказывает одно из двух: или что он совсем не понимает и не может понимать истинных преданий искусства, или же что он обладает строптивым характером, который может со временем довести его до одичалости. В первом случае критике нет надобности ни убеждать, ни анализировать, а следует сразу зачислить писателя в разряд отчаянных; но во втором — она еще имеет надежду, что строптивый писатель тронется ее убеждениями, и ежели не вполне твердо станет на путь, указанный образцами, то, по крайней мере, не будет относиться к нему с презрением. И таким образом погибнет не до конца.

Следуя указаниям г. Тургенева, мы с большим вниманием прочитали все 342 страницы «Признаний Чалыгина» и за всем тем не вынесли из этого чтения ни общего, ни частного впечатления. Есть известная мягкость тона, которая (мы не отрицаем этого) не лишена некоторой привлекательности; есть намек на живой образ в

лице матери Чалыгина и, пожалуй, в лице ее чичисбея Кремнева, но все это нисколько не выкупает бессвязности и бесхарактерности целого. Заглавие «Признания» может только ввести читателя в заблуждение, потому что никаких «признаний», собственно, нет, а есть довольно бледная история детства, которая прерывается совершенно неожиданно и из которой невозможно вывести решительно никаких заключений. Очень может статься, что мы и ошибаемся, требуя от писателя, чтоб он прежде всего ясно сознавал цель, с которой взялся за перо, но ошибка эта принадлежит не нам собственно, а истории искусства и литературы. Без ясно сознанный идеи художественное произведение является сбродом случайностей, в котором даже искусно начертанные образы теряют значительную долю своей цены, потому что не существует органической связи, которая объясняла бы их участие в общей экономии художественного произведения. Какую мысль имел в виду г. Полонский, сочиняя свои «Признания»? Желал ли он представить нам просто картину русского дворянского воспитания, без всякого отношения к тем влияниям, которые имеют это воспитание на образование характера и дальнейшие судьбы человека? или, быть может, имел он в предмете проследить эти влияния и в художественном образе воспроизвести их благотворность или

зловредность? — На все эти вопросы «Признания» не дают никакого ответа, а потому и критика будет совершенно права, если скажет, что сочинение это лишено живой основы и не вызвано никакою внутреннею потребностью духа. По этой же причине и лица, скученные в этом сочинении, кажутся не имеющими законного места, несмотря на то, что некоторые из них, взятые сами по себе, не лишены привлекательности и даже оригинальности. Нет предвзятой идеи (не в смысле пригибания живых лиц требуем мы предвзятой идеи, а в смысле общих намерений произведения) — нет и животворящего духа. Разрозненность, случайность, вялость — вот характеристические качества произведений, отвергающих так называемую тенденциозность, и не выкупятся эти недостатки никакими подробностями, как бы искусно и ловко они ни были составлены.

Гораздо более характерною представляется другая капитальная статья г. Полонского — «Ночь в Летнем саду», хотя по форме своей она несколько напоминает «разговоры» двадцатых годов о том, «кто истинно добрый и счастливый человек?». Вся эта статья, от начала до конца, проникнута протестом против буйственного духа времени, утверждающего, что картофель прекраснее цветов, что орлам следует поучиться летать у ос, что щебетание снегиря приятнее соловьиного пения и

множество других умных вещей в этом роде.

Мы ничего не имеем против протестов, если они выражены ясно, хотя бы даже и с примесью некоторого преувеличения. Протестуйте против чего угодно: против солнечного света, против течения времени — все эти протесты мы примем без удовольствия, но и без озлобления. Мы оставляем за собой только одно право — право рассматривать ваши протесты и, в свою очередь, протестовать против них. Зачем вы требуете протеста одностороннего, протеста, исключительно обращенного в вашу пользу? Зачем вы, втапывая в грязь целое общественное направление, ропщете, жалуетесь на каких-то врагов, обзываете их клиентами и наездниками, потому только, что люди этого направления, в свою очередь, находят ваши протесты лишенными разумных оснований? Согласитесь, что претензия подобного рода должна быть признана, по малой мере, нескромною.

Итак, мы охотно признаем всякого рода протесты, но, к сожалению, не можем не заявить, что в основании всех протестов, которые до сих пор появлялись в нашей литературе против буйственного духа времени, лежит или недоразумение, или совершенное непонимание тех явлений, о которых протестанты ведут речь. Мы очень легко можем доказать это, обратившись к произведению г. Полонского «Ночь в Летнем саду».

На сцене Летний сад в городе С.-Петербурге, в саду гуляет неосновательный мужчина. Мужчина этот нигде не может найти себе места, ни к чему не может пристроиться. Готовился он в университет, но «непредвиденные обстоятельства» не позволили ему выдержать экзамен; поступил на службу, но далее писаря не пошел; стал писать стихи — но одни, прочитав произведения его музы, нашли, что в них преобладает чистая поэзия, другие — что в них преобладает гражданская скорбь. Это и не удивительно, потому что неосновательные люди тем и отличаются, что куда ни приткнутся — везде или экзамена не выдержат, или что-нибудь такое скажут, чего никто не поймет. В такой крайности, они обыкновенно приходят к тому, что самый лучший для них исход — это заниматься амурами. Так поступил и неосновательный человек, которого рукопись издал г. Полонский. Он пришел в Летний сад на любовное свидание, но свидание не состоялось (даже в любовных занятиях эти люди несчастливы, ибо и тут действуют так, что никто ничего понять не может), и вот, застигнутый ночью, он остается в саду до утра. Дремота, полусон, фантастические видения. Оживает статуя Крылова, а за нею проникает дух жив и в тех низших представителей органической и неорганической природы (само собой разумеется, представители выбраны нарочито презрительные: кроты, лягушки,

дождевики, осы, снегири, в противоположность трудолюбивым пчелам, величественно парящим орлам и сладкогласным соловьям), которых некогда знаменитый баснописец заставлял говорить языком людей. Начинается всеобщий протест: тумба протестует против статуи Юноны, оса против орла, снегирь против соловья, и больше всех протестует сам автор рукописи против дурной привычки протестовать.

Возьмем же наудачу несколько признаков, которыми, по мнению автора, характеризуется буйственный дух времени и против которых он обязывает протестовать каждого благонамеренного россиянина.

Признак первый: «слепорожденный крот» выползает из своей норы и доказывает:

Что вовсе не цветы прекрасны, а  
картофель...

Признак действительно замечательный, и если бы в натуре существовало учение, которое обожествляло бы картофель и сводило с пьедестала цветы, то, с точки зрения благоустройства и благочиния, можно было бы обеспокоиться принятием мер против излишнего его распространения. К счастью, однако ж, это учение всецело принадлежит «слепорожденному кроту»,

который когда-то слышал звон, да не знает, откуда он. Действительно, существует учение, утверждающее, что цветы можно нюхать, а картофель есть, и что как в процессе обоняния, так и в процессе еды в одинаковой степени не заключается ничего презрительного; но этим простым утверждением учение и ограничивается. Цветы сами по себе, картофель сам по себе, и ежели по временам еще требуется подкреплять столь простую истину доказательствами, то потому только, что авторитет цветов признан даже неосновательными людьми, а авторитет картофеля оставлен в забвении, и, следовательно, необходимо вывести и его из тьмы и поставить на надлежащее место. Во всяком случае, что может быть понятнее, мирнее, спокойнее этого учения? Где тут повод для насмешки, а тем более для презрения?

Но неосновательные люди смотрят на это дело иначе. Они разделяют природу на две половины: прекрасную и гнусную. В первой помещают цветы, плоды и вольных птиц, во второй — траву белоус, овощи и пернатых, воспитываемых на скотных дворах. Почему это так и на каком разумном основании автор изданной г. Полонским «рукописи» противопоставил цветам картофель? что находит он презрительного в картофеле и почему картофель презрительнее цветов? На все эти вопросы автор, конечно, не даст никакого ответа, а

не даст его и потому, что едва ли даже предполагает возможность вопросов в таком деле, которое испокон веку имеет за себя авторитет реторик и учебников, изданных для средних учебных заведений. Там строго-настрого предписывается делить природу на прекрасную и гнусную, ну, и он таким же образом делит да, вдобавок, еще сердится на тех, которые утверждают, что формы, в которых проявляет себя творчество природы, находятся в зависимости от точных и в данную минуту незыблемых законов, существование которых исключает даже самое предположение о прирожденной презрительности или прирожденном благородстве этих форм.

Древние реторики, несмотря на всю путаницу, которую они произвели в понятиях, высказали одно очень мудрое и полезное требование, а именно: они обязывали писателей, намеревающихся поучать публику, предварительно задаваться вопросами: *cur? quomodo? quando? quibus auxiliis?*<sup>3</sup> и проч. Если б автор изданной г. Полонским «рукописи» последовал этому совету, он наверное отступился бы от какого бы то ни было разглагольствия на тему о превосходстве картофеля над цветами, ибо тотчас же нашел бы, что ни на какой вопрос, вытекающий из подобной темы, никакого ответа

---

<sup>3</sup> почему? каким образом? когда? с чьей помощью?



дать невозможно. Почему (*cur*) крот есть эмблема презрительности, а орел — эмблема благородства? — нипочему. Каким образом (*quomodo*) случилось, что крот сделался эмблемою презрительности, а орел — эмблемою благородства? — никаким. Когда (*quando*) это случилось? — никогда. И до тех пор продолжался бы этот замечательный *colloquium*, покуда сам автор, наконец, не пришел бы в себя и не воскликнул: господи! да никак я в бреде нахожусь!

Да; надо всемерно стараться обдумывать то, что намереваешься пропагандировать, и это правило, обязательное для всех вообще мыслящих людей, еще более обязательно для писателей, потому что *verba volant, a scripta manent*<sup>4</sup>. Пусть представление об этом «*manent*» неотступно сопутствует каждому литературному деятелю, наверное тогда они и перестанут язвить картофель и не будут противопоставлять кротов орлам.

Другой, тоже достойный осмеяния признак буйственного духа времени — это склонность «ос» к естествознанию.

Не понимают,  
И как бы не желают понимать,  
Что я склонна к естествознанью

---

<sup>4</sup> слова улетают, написанное остается

Почти на столько же, на сколько и к  
жужжанью...

Так жалуется оса, бесполезное и праздное насекомое, противопоставленное полезной и трудолюбивой пчеле. Оказывается, что пчелы уже давно обладают естествознанием (любопытно было бы видеть этих пчел), но не хотят делиться своими сведениями с осами, на том, конечно, основании, что по отношению к этим праздным и легкомысленным насекомым знание может быть только источником самой глубокой нравственной разнузданности. Истина эта уже не нова; еще г. Даль в оное время отстаивал право русского мужика на безграмотность,<sup>5</sup> на том основании, что научите, дескать, слесаря грамоте, он сейчас же начнет ключи к чужим шкатулкам подделывать. Но допустим невозможное, предположим, что знание действительно вредно — на ком, спрашивается, лежит обязанность определить меру этого вреда и способы его устранения? Неужели на литературе? Нет, говоря по совести, утверждать этого нельзя. Литература не может принять на себя этой задачи, потому что она призвана разрабатывать и распространять знания, а не укорачивать их. Ей нет

---

<sup>5</sup> ...еще г. Даль в оное время отстаивал право русского мужика на безграмотность... — См. т. 2 наст. изд., стр. 539.

дела до последствий ее пропаганды, хотя бы ею воспользовались осы, трутни, кроты и другие презрительные разновидности. Пускай знание не всем равно идет впрок (чтобы оно производило прямой вред, мы не решаемся даже сказать подобную нелепость), но в том, что осы, кроты и дождевики почувствовали потребность в знании, нет еще ничего вредного, ни достойного осмеяния. Может быть, они воспользуются знанием дурно, может быть, и совсем не воспользуются, но все это до такой степени гадательно, что позволительно делать предположения и в обратном смысле. Если бы осы жаловались на то, что не удовлетворяют их склонности бить баклуши, тогда действительно можно было бы пожуричь их, но видеть что-то неуместное в жажде к знанию, и именно к естествознанию, — это, по малой мере, опрометчиво.

Источник иронии, с которой автор изданной г. Полонским «рукописи» относится к жажде естествознания, по-видимому, кроется в том утвердившемся у нас мнении, будто естествознание подрывает цельность человеческого мирозерцания. Мнение это родилось первоначально на улице (едва ли даже не в среде городских), а с улицы мало-помалу проникло и в литературу. Но хотя уличные публицисты и утверждают, что человек счастливее тогда, когда он

убежден, что гром пускает Зевес, нежели тогда, когда он знает действительные причины, обуславливающие гром, история до сих пор не представляла примеров, чтобы знание было причиной чьего-либо несчастья. Патагонцы<sup>6</sup> обладают очень малыми знаниями, но это не делает их счастливыми; напротив того, например, мы, русские, обладаем достаточными знаниями и, вследствие того, чувствуем себя благополучными. Следовательно, ежели оса или еж требуют знания, не возбраняет им сие следует, но к тому их поощрять. Распространение знаний приносит все приятства, которыми мы уже пользуемся, и, вероятно, принесет со временем и другие приятства, которыми мы еще не пользуемся; единоторжие же в области знаний, напротив того, делает эти приятства уделом очень ограниченного меньшинства, а большинство ставит в необходимость или завидовать, или облизываться. Подумал ли автор изданной г. Полонским «рукописи», к каким последствиям может привести чувство зависти, особливо ежели будут приняты все

---

<sup>6</sup> Патагонцы... — Как указал С. С. Борщевский, впервые Салтыков употребил этот синоним глуповца в «Письмах о провинции» (письмо двенадцатое — см. т. 7 наст. изд., стр. 336), а затем — в пятой главе «Итогов» (там же, стр. 472) и рецензии на «Повести» Н. Лейкина (наст. том, стр. 421).

меры к постоянному его раздражению? — нет, очевидно, он не подумал, ибо, в противном случае, он понял бы, что единственное средство умиротворить это чувство заключается в удовлетворении, по крайней мере, тех его требований, которые не заключают в себе ничего противозаконного. Крот жаждет естествознания — ну, и дайте ему его, а там, ежели он от него пропадет, то пусть на себя и пеняет. Во всяком случае, он уже не будет иметь поводов для зависти и ропота.

Но ежели автор не подумал об этом, то зачем не подумал за него г. Полонский, взявший на себя труд издать его рукопись?

Наконец, третий признак (мы спешим покончить, хоть подобных признаков найдется еще не мало в этой злосчастной фантазии) выражается устами самого Крылова и состоит в том,

Что о свободе все пищат...

И, разумеется, лгут.

Тут всё ирония: и «все», и «пищат». Кто говорит о свободе? — «все», то есть не только столоначальники и благонамеренные литераторы, но сычи, осы, дождевики, кроты и т. п. сброд. Как они говорят? — ну, разумеется, «пищат», то есть несут всякую чушь, не понимая, в чем даже

заключается понятие о действительной свободе... И смех, и горе! Смех, потому что если вообще писк не может не возбуждать смеха, то тем более должен быть смешон писк о свободе. Горе — потому, что всех этих маленьких насекомых, к сожалению, необходимо вразумлять, то есть просто-напросто воспретить им пищать о свободе.

Автор уважает свободу и называет ее «святою», но ему больно, когда об ней «пищат», и притом пищат «все». Как и по отношению к естествознанию, он желал бы, чтоб разговоры о свободе составляли предмет единоторжия людей вполне компетентных и подготовленных. Только тогда «святая» свобода не будет компрометирована, когда об ней спокойно будут рассуждать спокойные люди, и, порешив, что свобода есть свобода, разойдутся по домам... Все это прекрасно, но что же, однако ж, смешного в том, что «о свободе все пищат»? «Пищат» — ведь это только» значит, что говорят тем самым голосом, который дан природой; «все пищат» — значит, все хотят определить себе значение слова «свобода». Это ведь тоже своего рода любознательность, и притом настолько естественная, что ее почти можно назвать невольною, а стоит ли обращать бич сатиры на такой грех, который совершается невольно. И, наконец, ужели рычание о рабстве слаще для слуха, нежели даже самый смешной писк о свободе?

Таковы признаки буйственного духа времени, которые послужили темой для насмешек автора изданной г. Полонским рукописи. Любопытно было бы знать, каковы же идеалы самого автора? Кто эти орлы, пчелы, соловьи, которых он противопоставляет кротам, осам и снегирям?

Мы не назовем здесь этих орлов; за нас назовет их вся русская жизнь. Но идеалы назвать мы можем; они таковы:

Презрение к полезному.

Концентрирование знания в среде ограниченного меньшинства, в массах же — поддержание невежественности.

Возведение понятия о «свободе» на степень секрета.

Насколько величественны подобные идеалы — предоставляем судить читателям.

Очень возможно, что и настоящая рецензия наша заслужит название придирчивой, внушенной клиентизмом и страстью к наездничеству; но мы не останавливаемся на этих упреках, ибо не имеем никаких сомнений насчет источника, из которого они выходят. С своей стороны, мы искренно желаем, чтоб наши пропагандисты уличной философии убедились наконец, что то, что они защищают, не имеет нужды в защите, а то, что

осмеивают, не подлежит осмеянию.



## В сумерках

*Сатиры и песни Д. Д. Минаева.  
СПб. 1868 г.*

Сатире, бесспорно, посчастливилось на Руси. Если мы припомним достославное изречение: «Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет», то окажется, что родоначальником русской сатиры был едва ли не Гостомысл. За ним следовал целый ряд более или менее блестящих сатириков, которых имена с признательностью сохранила русская история на скрижалях своих и которых сатира, не имея, конечно, привлекательных литературных форм, которыми обладает сатира г. Минаева, язвительностью своею не только не уступала последней, но даже превосходила ее.

То была сатира по преимуществу поучающая и вразумляющая. Изменяя свои внешние формы, смотря по тому, варяги, монголы или немцы участвовали в ее сочинении, она относительно внутреннего содержания оставалась всегда неизменною, всегда верною своим дидактическим целям. Исходя от идеалов весьма определенных, как, например, охранение княжеских и ханских интересов, своевременная и безнедоимочная уплата налогов и даней, она тем с большим успехом могла действовать на искоренение противных сим

идеалам пороков, что к услугам ее всегда был готов целый арсенал вспомогательных средств также несомненно дидактического свойства. Это был золотой век русской сатиры; ибо в продолжение его сатира воздействовала не только на порочную волю русского человека, но и на порочное его тело.

Но с тех пор как, по соображениям высшей важности, попечение об интересах русской сатиры признано возможным предоставить литераторам, дело пошло несколько иначе. Новые деятели, не получив в свое распоряжение никаких вспомогательных средств, очутились в самом затруднительном положении. Попробовали поискать идеалов с намерением сделать из них нечто вроде крепости, из которой можно было бы с удобностью стрелять по проходящим, но и в том не успели, потому что как идеалы, так и прочие украшения остались по-прежнему в заведовании надлежащих комендантов... Остались, правда, кой-какие идеальчики, но очень маленькие, так сказать, бросовые — ими и удовольствовались.

Из этих бросовых идеальчиков каждый сатирик выбрал себе такой, какой приходился ему по комплекции. Который сатирик — евнух, тот, увидя на Невском камелию, непременно заскрежещет зубами; который сатирик предпочитает пенное — тот непременно обругает всех пьющих дорогое виноградное вино; который

сатирик возлюбил халатную простоту — тот с негодованием отнесется к фрак, сшитому Шармером. Далее камелий, фраков и шестирублевого лафита дерзают очень немногие, да и такое ли теперь, впрочем, время, чтобы дерзать!

Время теперь стоит самое веселое; пороки истреблены, злоупотребления уничтожены, гнусные поползновения, какие были, посрамлены. Остались лишь пороки и злоупотребления второго сорта, а именно: камелии, шармеровские фракы и колониальные магазины купца Елисеева; правда, что истребить эти пятна, затемняющие солнце русской добродетели, очевидно, не под силу нашим сатирикам, но зато они тем удобны, что стрелять в них предоставляется даже без пороху. Таким образом, утратив свой величавый, равно для всех обязательно-дидактический характер, сатира приобрела значение камелийно-панталонно-колониальное и, за немногими исключениями, сосредоточилась преимущественно около Петербурга, да и в самом Петербурге распалась еще на адмиралтейскую, коломенскую, Васильевскую, нарвскую и т. п.

Такое исключительное сосредоточение русской сатиры около Петербурга представляет большую ошибку. В самом деле, что такое Петербург? С точки зрения общественной жизни — уличной и салонной, — это город водевильных

нравов, водевильных подвигов, водевильных измышлений — и больше ничего. Изобразите русскому человеку самым подробным, самым наглядным образом эту водевильно-беспутную жизнь — он останется совершенно безучастен к ней. Одной половины этих подробностей, как слишком специальных, он не поймет, другая представится ему чем-то вроде сказочной пошлости. Конечно, Петербург для него небезызвестен и даже небезынтересен, но совсем не в том смысле, какие там процветают камелии и какого цвета носят панталоны, а исключительно как складочный магазин тех шишек, от которых, по пословице, тошно приходится бедному Макару. Все остальное, то есть все то, в чем следовало бы искать материала для характеристики общества, представляет такую мелкую и притом неяркую, несвоеобразную подробность, которая в общем строе русской жизни остается совершенно вне всякого влияния.

К сожалению, современная русская сатира, прилепившись к Петербургу, ищет в нем совсем не того, что искать надлежит, а того, до чего никому нет никакого дела. Мишенью для своих сарказмов и стрел она избрала не то мероизлиятельное значение Петербурга, которое понятно для каждого русского человека, а так называемые петербургские нравы. Но, как сказано выше, в Петербурге нравов нет и

никогда не было, а есть и было отсутствие нравов. В самом деле, представьте себе хоть целое сонмище камелий, собранных вкупе и оскверняющих взоры проходящих своими оголтелыми прелестями, — что можно сказать по поводу такого сюжета, кроме того, что вот женщины, которые, не опасаясь простуды, обнажают себя для удовольствия своих ближних? Если вы вместо слова «женщины» поставите «бесстыдницы», то это уже будет высшая мера того сатирического негодования, которого этот предмет достоин. Представьте себе легион молодых шалопаев, гранящих мостовую в шикарных пиджаках, — что может сказать об них сатира самая злая, кроме того, что это легион шалопаев, гранящих мостовую в шикарных пиджаках? Представьте себе целый рой отупевших от обжорства старцев, проводящих лучшие часы жизни в колониальных магазинах Елисеева, — что может Евменида самая разъяренная сказать об них, кроме того, что это старцы, отупевшие от обжорства, проводящие лучшие часы? и т. д.

Эти люди определяют сами себя с такою наглядностью, что не представляют даже предмета для наблюдения. Они мало кого могут заинтересовать уже по тому одному, что в сущности и оголение женских тел, и щеголяние пиджаками, и смакование колониальных товаров — все это занятия свободные, вмешиваться в которые никто не имеет

права до тех пор, покуда не будет доказано, что от этого происходит ущерб для государственной казны и общественного благоустройства. Говоря о людях этого замкнутого, ничтожного мира, признавая их за людей, а не за простую слякоть, сатира не только искажает свое значение, но даже перестает быть чистоплотною. Возможны ли выводы в виду этих общественных курьезов? Возможен ли суд? Нет, ни для тех, ни для другого не имеется достаточных оснований, ибо курьезы тем именно и замечательны, что из них ровно ничего не следует и что относительно них принцип вменяемости становится совершенно излишним. И вот почему, когда сатира, желая придать важность подобным неважным предметам, становится на ходули и принимает ювеналовские тоны, то бичеванье ее кажется похожим на стрельбу из пушек по воробьям.

Одним словом, сатира, замыкающая себя в кругу общественных курьезов и странностей (которыми так изобилует петербургская общественная жизнь), едва ли может даже заслуживать название сатиры. Как ни натуживайся сатирик, какую ни давай форму своему произведению, содержание его все-таки будет внешнее, водевильное.

Несколько иной оборот примет дело, ежели мы представим себе, что эти курьезы, по

случайному насилию судьбы, становятся в ближайшее отношение к тем шишкам, о которых сказано выше. Тут уж действительно есть над чем призадуматься и найти возможность для целого ряда сопоставлений более или менее поразительных. В самом деле, с одной стороны, общественное мнение, забитое и приниженное, с одной стороны, несмелые порывания к чему-то лучшему, мучительные сомнения, прискорбная неуверенность в поступках и действиях и неудовлетворенная жажда света, истины и добра, с другой стороны, торжествующее сонмище грызунов-шалопаяев, сонмище самодовольное, самоуверенное, пользующееся, недоступное ни для каких колебаний — трудно себе представить что-нибудь более горькое, более способное возмутить мысль самую незлобивую! Тут уже чувствуется *дело*, могущее возбудить не один водевильный и скоро проходящий смех, тут уже имеется исходная точка для выводов, разрабатывая которые сатира может достигнуть результатов довольно серьезных и понятных не для одного петербургского старожилы.

Тем не менее, ежели мы всмотримся ближе, то увидим, что и этого рода сатира не только не исчерпывает всей жизни общества, но даже относится к ней односторонне и поверхностно. Как ни прискорбна мысль о торжестве сонмища

шалопаев, мы должны, однако ж, сознаться, что влияние их на судьбу масс далеко не столь решительно, как это кажется на первый взгляд. Если мы думаем, что жизнь общества совершает свой круг в неразрывной и исключительной зависимости от этого влияния, если в ней ярче всего бросаются нам в глаза имена и события, ни о чем не говорящие, кроме насилия, и если повествование об этих насилиях мы принимаем за действительную историю общественного развития, то взгляд такого рода положительно ошибочен. Действительная история человеческих обществ есть повесть неписаная и по преимуществу безымянная, которой нет дела до случайных накипей, образующихся на поверхности общества. Она воспроизводит не ту кажущуюся, богатую лишь внешними признаками жизнь, которая мечется в глаза поверхностному и легкомысленному наблюдателю, но ту безвестную жизнь масс, где совершаются дела и события, почти всегда находящиеся в явном противоречии с показаниями истории писаной и щеголяющей именами.

Вот ежели мы спустимся в эти таинственные, неизвестные народные глубины и найдем там лишь убожество, нищету да бессилие, — ежели мы встретимся там лицом к лицу с жизнью, со всех сторон опутанною всякого рода тенетами, с жизнью, находящеюся в постоянном и бесплодном



борении с материальной нуждой, с жизнью, которая этою никогда не прерывающеюся борьбой как бы осуждена на вечный мрак и застой, — вот тогда-то перед нами откроется зрелище действительно потрясающее, которое всецело и навсегда прикует к себе лучшие силы нашего существа и в то же время даст нашей деятельности и богатое, неисчерпаемое содержание, и действительную исходную точку.

Таким образом, оказывается, что единственно плодотворная почва для сатиры есть почва народная, ибо ее только и можно назвать общественной в истинном и действительном значении этого слова. Чем далее проникает сатирик в глубины этой жизни, тем весче становится его слово, тем яснее рисуется его задача, тем неоспоримее выступает наружу значение его деятельности. Дело будет слышаться в его речи, то кровное человеческое дело, которое, затрогивая самые живые струны человеческого существа, нередко возвышает до героизма даже весьма обыкновенного человека.

Переходя от этих общих замечаний к сатире г. Минаева, мы должны сознаться, что эта последняя, в большинстве случаев, носит характер слишком большой исключительности, чтобы иметь действительное значение для русского общества. Произведения его музы, за весьма малыми

исключениями (переводами или пьесами, навеянными иностранными образцами), имеют в виду некоторые особенности общественной жизни столичного города Петербурга, а так как особенности эти очень неважны, то из этого естественно вытекает, что и воспроизведение их может интересовать только небольшой круг прикосновенных.

Но ежели принять в соображение то общее правило, что всякий писатель дает только то, что может дать, ежели отбросить в сторону оценку тех задач, которые избрал г. Минаев предметом своей литературной деятельности, то окажется, что это писатель остроумный, даровитый и притом обладающий прямыми и честными убеждениями. Это последнее качество сообщает его «сатирам и песням» известный колорит искренности и неподдельности изливаемого им негодования, например, по поводу аристократки барыни, которая публично проповедует строгую мораль, а в тиши уединения весьма недвусмысленно любезничает с лакеем-французом (см. поэму «Раут»).

Чтобы познакомить читателя несколько ближе с приемами и предметами сатиры г. Минаева, выпишем первую и, по нашему мнению, самую характерную пьесу его сборника.

## МУЗА

Муза, прочь от меня!  
Я с тобой разрываю все узы...  
Право честного слова ценя,  
В мир хочу я явиться без музыки.  
Прочь, развратница!  
Твой Геликон  
Шарлатанам стал местом базара,  
Лучезарный твой бог Аполлон  
Нарядился в ливрею швейцара;  
Опозоренный, дряхлый старик  
Мелкой лестью сменил вдохновенье  
И в прихожих, в грязи униженья,  
От речей неподкупных отвык.  
Муза, прочь!.. не нужна  
Мне опора твоя ненавистная.  
Ты порой, как весталка, скромна.  
То нагла, как блудница корыстная.  
Перед юным и честным певцом  
Ты свой умысел гнусный скрывала,  
Подходила с невинным лицом.  
Как невеста пред брачным венцом,  
Целомудренно взор опускала.  
Ты водила поэта в поля,  
В наши грустные, русские степи;  
Ты рыдала, кляня  
Крепостничества ржавые цепи.

Ты на вопли народные воплем своим  
отвечала.

И могучая песня стонала,  
Как стонала родная земля.  
Время шло... На мотивы гражданские мода  
Обратилась в плохое фиглярство;  
Спали цепи с народа  
На глазах изумленного барства;  
На вчерашние темы напев,  
Что ни шаг, представлял неудобства,  
И свободная муза свой гнев  
Променяла на лиру холопства.  
А ты, поэт, спокойней путь избрав,  
Не постыдился жалкого юродства:  
За чечевичную похлебку, как Исав,  
Ты продал на обедах первородство.  
Нет, муза, — прочь!..

Пьеса эта производит какое-то странное, смешанное впечатление. Начало ее хорошо бесспорно; сатирик негодует на музу, и так как причин (и притом весьма законных) для такого негодования весьма много, то читатель охотно ему в этом сочувствует, тем более что гнев сатирика нашел для своего выражения и яркое, задушевное слово. Чем же, однако же, раздражается это негодование? Против чего оказывается оно направленным? Против того, что

...поэт, спокойней путь избрав,  
Не постыдился жалкого юродства:  
За чечевичную похлебку, как Исав,  
Ты продал на обедах первородство...

Уже не говоря о том, что вся эта строфа есть не что иное, как *lapsus linguae*<sup>7</sup>, и что г. Минаев, вероятно, хотел сказать, что поэт продал, подобно Исаву, свое первородство, взамен чечевичной похлебки на обедах (так, по крайней мере, гласит смысл пьесы, но сатирик, очевидно, спутал Исаву с похлебкою), можно ли представить себе заключения более неожиданного, более несоответственного общему тону пьесы и в особенности начала ее?

Подобная невыдержанность мысли — явление весьма нередкое в стихотворениях г. Минаева. В особенности поражает она в пьесах: «Раут», «Обманутая муза», «Золотой телец», «Загадка», «Одна из многих», «На сон грядущий», «Прерванные куплеты». В некоторых из этих стихотворений непонятен даже самый предмет сатиры, как, например, в «Золотом тельце». Известно, что страсть к золоту издревле служит темою для всевозможных сатирических выходов, но странно, что до сих пор ни один сатирик не

---

<sup>7</sup> обмолвка (лат.)

сообразил, что золото совсем не само по себе составляет предмет человеческих стремлений, а только в качестве менового знака, с помощью которого приобретаются различные материальные и духовные удобства. Спрашивается, что же в этих последних заключается постыдного, что заслуживало бы сатирических стрел вроде следующих:

Пролетарий и жирный банкир —  
Всех равно увлекает кумир.  
Пред которым, с пеленок растленная,  
Пресмыкается в прахе вселенная...

Или:

Наконец, на вершине избранники!  
И — ужасны бездушные странники:  
В них, достигших заветных чудес,  
Человеческий образ исчез.

Почему банкир непременно «жирный»? Почему люди, стремящиеся к золоту, то есть опять-таки к материальным и духовным удобствам, представляются «с пеленок растленными»? Почему, наконец, у человека, который достиг этих удобств, непременно должен исчезнуть «человеческий образ»? Не потому ли, что все это рутина, рутина и

рутина?

Повторяем: г. Минаев сатирик местный и петербургский, и в этом смысле можем с удовольствием указать на две пьесы: «Вампир» и «Приап», как на особенно удачные.

Не можем также не указать на прекрасную пьесу «Добрый совет», которая свидетельствует, что муза г. Минаева может со временем выйти из тесной сферы исключительно петербургских интересов.